

ЧЕВЕНГУР
ПУТЕШЕСТВИЕ
С ОТКРЫТЫМ СЕРДЦЕМ



Есть ветхие опушки у старых провинциальных городов. Туда люди приходят жить прямо из природы. Появляется человек — с тем зорким и до грусти изможденным лицом, который все может починить и оборудовать, но сам прожил жизнь необорудованно. Любое изделие, от сковородки до будильника, не миновало на своем веку рук этого человека. Не отказывался он также подкидывать подметки, лить волчью дробь и штамповать поддельные медали для продажи на сельских старинных ярмарках. Себе же он никогда ничего не сделал — ни семьи, ни жилища. Летом жил он просто в природе, помещая инструмент в мешке, а мешком пользовался как подушкой — более для сохранности инструмента, чем для мягкости. От раннего солнца он спасался тем, что клал себе с вечера на глаза лопух. Зимой же он жил на остатки летнего заработка, уплачивая церковному сторожу за квартиру тем, что звонил ночью часы. Его ничто особо не интересовало — ни люди, ни природа, кроме всяких изделий. Поэтому к людям и полям он относился с равнодушной нежностью, не посягая на их интересы. В зимние вечера он иногда делал ненужные вещи: башни из проволоки, корабли из кусков кровельного железа, клеил бумажные дирижабли и прочее — исключительно для собственного удовольствия. Часто он даже задерживал чей-нибудь случайный заказ — например, давали ему на кадку новые обручи подогнать, а он занимался устройством деревянных часов, думая, что они должны ходить без завода — от вращения земли.

Церковному сторожу не нравились такие бесплатные занятия.

— На старости лет ты побираться будешь, Захар Палыч! Кадка вон который день стоит, а ты о землю деревяшкой касаешься — неведомо для чего!

Захар Павлович молчал: человеческое слово для него что лесной шум для жителя леса — его не слышишь. Сторож курил и спокойно глядел дальше — в Бога он от частых богослужений

не верил, но знал наверное, что ничего у Захара Павловича не выйдет: люди давно на свете живут и уже все выдумали. А Захар Павлович считал наоборот: люди выдумали далеко не все, раз природное вещество живет нетронутым руками.

Через четыре года в пятый село наполовину уходило в шахты и города, а наполовину в леса — бывал неурожай. Издавна известно, что на лесных полянах даже в сухие годы хорошо вызревают травы, овощ и хлеб. Оставшаяся на месте половина деревни бросалась на эти поляны, чтобы убереечь свою зелень от моментального расхищения потоками жадных странников. Но на этот раз засуха повторилась и в следующем году. Деревня заперла свои хаты и вышла двумя отрядами на большак — один отряд пошел побираться к Киеву, другой — на Луганск на заработки; некоторые же повернули в лес и в заросшие балки, стали есть сырую траву, глину и кору и одичали. Ушли почти одни взрослые — дети сами заранее умерли либо разбежались нищенствовать. Грудных же постепенно затомили сами матери-кормилицы, не давая досыта сосать.

Была одна старуха — Игнатьевна, которая лечила от голода малолетних: она им давала грибной настойки пополам со сладкой травой, и дети мирно затихали с сухой пеной на губах. Мать целовала ребенка в состарившийся морщинистый лобик и шептала:

— Отмучился, родимый. Слава тебе господи!

Игнатьевна стояла тут же:

— Преставился, тихий: лучше живого лежит, сейчас в раю ветры серебряные слушает...

Мать любовалась своим ребенком, веря в облегчение его грустной доли.

— Возьми себе мою старую юбку, Игнатьевна, — нечего больше дать. Спасибо тебе.

Игнатьевна простирала юбку на свет и говорила:

— Да ты поплачь, Митревна, немножко: так тебе полагается. А юбка твоя ношёная-переношёная, прибавь хоть платочек ай уютюжок подари...

Захар Павлович остался в деревне один — ему понравилось безлюдье. Но жил он больше в лесу, в землянке с одним бобылем, питаюсь наваром трав, пользу которых заранее изучил бобыль.

Все время Захар Павлович работал, чтобы забывать голод, и приучился из дерева делать все то же, что раньше делал из металла. Бобыль же всю жизнь ничего не делал — теперь тем более;

до пятидесяти лет он только смотрел кругом — как и что — и ожидал: что выйdet, в конце концов, из общего беспокойства, чтобы сразу начать действовать после успокоения и выяснения мира; он совсем не был одержим жизнью — и рука его так и не поднялась ни на женский брак и ни на какое общепольное деяние. Родившись, он удивился и так прожил до старости с голубыми глазами на моложавом лице. Когда Захар Павлович делал дубовую сковородку, бобыль поражался, что на ней все равно ничего нельзя изжарить. Но Захар Павлович наливал в деревянную сковородку воды и достигал на медленном огне того, что вода кипела, а сковородка не горела. Бобыль замирал от удивления:

— Могучее дело. Куда ж тут, братцы, до всего дознаться...

И у бобыля опускались руки от сокрушающих всеобщих тайн. Ни разу никто не объяснил бобылю простоты событий — или он сам был вконец бестолковый. Действительно, когда Захар Павлович попробовал ему рассказать, отчего ветер дует, а не стоит на месте, бобыль еще более удивился и ничего не понимал, хотя чувствовал происхождение ветра точно.

— Да неужто? Скажи пожалуйста! Стало быть, от солнечного припеку? Милое дело!..

Захар Павлович объяснил, что припек дело не милое, а просто — жара.

— Жара?! — удивился бобыль. — Ишь ты, ведьма какая!

У бобыля только передвигалось удивление с одной вещи на другую, но в сознание ничего не превращалось. Вместо ума он жил чувством доверчивого уважения.

За лето Захар Павлович переделал из дерева все изделия, какие знал. Землянка и ее усадебное прилежащее место было уставлено предметами технического искусства Захара Павловича — полный комплект сельскохозяйственного инвентаря, машин, инструментов, предприятий и житейских приспособлений — все целиком из дерева. Странно, что ни одной вещи, повторявшей природу, не было: например, лошади, колеса или еще чего.

В августе бобыль пошел в тень, лег животом вниз и сказал:

— Захар Павлович, я помираю, я вчера ящерицу съел... Тебе два грибка принес, а себе ящерицу сжарил. Помахай мне лопухом по верхам — я ветер люблю.

Захар Павлович помахал лопухом, принес воды и попил умиравшего.

— Ведь не умрешь. Тебе только кажется.
— Умру, ей-богу, умру, Захар Палыч, — испугался солгать бобыль. — Нутрё ничего не держит, во мне глист громадный живет, он мне всю кровь выпил... — Бобыль повернулся навзничь. — Как ты думаешь, бояться мне аль нет?

— Не бойся, — положительно ответил Захар Павлович. — Я бы сам хоть сейчас умер, да все, знаешь, занимаешься разными изделиями...

Бобыль обрадовался сочувствию и к вечеру умер без испуга. Захар Павлович во время его смерти ходил купаться в ручей и застал бобыля уже мертвым, задохнувшимся собственной зеленой рвотой. Рвота была плотная и сухая, она тестом осела вокруг рта бобыля, и в ней действовали белые мелкокалиберные черви.

Ночью Захар Павлович проснулся и слушал дождь: второй дождь с апреля месяца. «Вот бы бобыль удивился», — подумал Захар Павлович. Но бобыль мокнул один в темноте ровно льющихся с неба потоков и тихо опухал.

Сквозь сонный, безветренный дождь что-то глухо и грустно запело — так далеко, что там, где пело, наверно, не было дождя и был день. Захар Павлович сразу забыл бобыля, и дождь, и голод и встал. Это гудела далекая машина, живой работающий паровоз. Захар Павлович вышел наружу и постоял во влаге теплого дождя, напевающего про мирную жизнь, про обширность долгой земли. Темные деревья дремали раскорячившись, объятые лаской спокойного дождя; им было так хорошо, что они изнемогали и пошевеливали ветками без всякого ветра.

Захар Павлович не обратил внимания на отраду природы, его разволновал неизвестный смолкший паровоз. Когда он ложился обратно спать, он подумал, что дождь и тот действует, а я сплю и прячусь в лесу напрасно: умер же бобыль, умрешь и ты; тот ни одного изделия за весь свой век не изготовил — все присматривался да приноравливался, всему удивлялся, в каждой простоте видел дивное дело и руки не мог ни на что поднять, чтобы чего-нибудь не испортить; только грибы рвал, и то находить их не умел; так и умер, ни в чем не повредив природы.

Утром было большое солнце и лес пел всюю гущей своего голоса, пропуская утренний ветер под исподнюю листву. Захар Павлович заметил не столько утро, сколько смену работников — дождь

успел в почве, его заменило солнце; от солнца же поднялась суе-та ветра, взъерошились деревья, забормотали травы и кустарники, и даже сам дождь, не отдохнув, снова вставал на ноги, разбуженный щекочущей теплотой, и собирал свое тело в облака.

Захар Павлович положил в мешок свои деревянные изделия — сколько их в нем уместилось — и пошел вдаль, по грибной бабьей тропинке. На бобыля он не посмотрел: мертвые невзрачны; хотя Захар Павлович знал одного человека, рыбака с озера Мутево, который многих расспрашивал о смерти и тосковал от своего любопытства; этот рыбак больше всего любил рыбу не как пищу, а как особое существо, наверное знающее тайну смерти. Он показывал глаза мертвых рыб Захару Павловичу и говорил: «Гляди — премудрость! Рыба между жизнью и смертью стоит, оттого она и немая и глядит без выражения; телок ведь и тот думает, а рыба нет — она все уже знает». Созерцая озеро годами, рыбак думал все об одном и том же — об интересе смерти. Захар Павлович его отговаривал: «Нет там ничего особого: так, что-нибудь тесное». Через год рыбак не вытерпел и бросился с лодки в озеро, связав себе ноги веревкой, чтобы нечаянно не поплыть. Втайне он вообще не верил в смерть, главное же, он хотел посмотреть — что там есть: может быть, гораздо интересней, чем жить в селе или на берегу озера; он видел смерть как другую губернию, которая расположена под небом, будто на дне прохладной воды, и она его влекла. Некоторые мужики, которым рыбак говорил о своем намерении пожить в смерти и вернуться, отговаривали его, а другие соглашались с ним: «Что ж, испыток не убыток, Митрий Иваныч. Пробуй, потом нам расскажешь». Дмитрий Иваныч попробовал: его вытащили из озера через трое суток и похоронили у ограды на сельском погосте.

Сейчас Захар Павлович проходил мимо погоста и искал могилу рыбака в частокале крестов. Над могилой рыбака не было креста: ни одно сердце он не огорчил своей смертью, ни одни уста его не поминали, потому что он умер не в силу немощи, а в силу своего любопытного разума. Жены у рыбака не осталось — он был вдовый, сын же был малолеток и жил у чужих людей. Захар Павлович приходил на похороны и вел мальчишку за руку — ласковый и разумный такой мальчик, не то в мать, не то в отца; где сейчас этот мальчик? — наверно, умер первым в эти голодные годы,

как круглый сирота. За гробом отца мальчик шел без горя и пристойно.

— Дядя Захар, это отец нарочно так улегся?

— Не нарочно, Саш, а сдуру — тебя теперь в убыток ввел. Не скоро ему рыбу ловить придется.

— А чего тетки плачут?

— Потому что они хоньжи!

Когда гроб поставили у могильной ямы, никто не хотел проститься с покойным. Захар Павлович стал на колени и притронулся к щетинистой свежей щеке рыбака, обмытой на озерном дне. Потом Захар Павлович сказал мальчику:

— Прощайся с отцом — он мертвый на веки веков. Погляди на него — будешь вспоминать.

Мальчик прилег к телу отца, к старой его рубашке, от которой пахло родным живым потом, потому что рубашку надели для гроба — отец утонул в другой. Мальчик пощупал руки, от них несло рыбной сыростью, на одном пальце было надето оловянное обручальное кольцо, в честь забытой матери. Ребенок повернул голову к людям, испугался чужих и жалобно заплакал, ухватив рубашку отца в складки, как свою защиту; его горе было безмолвным, лишенным сознания остальной жизни и поэтому неутешимым; он так грустил по мертвому отцу, что мертвый мог бы быть счастливым. И все люди у гроба тоже заплакали от жалости к мальчику и от того преждевременного сочувствия самим себе, что каждому придется умереть и так же быть оплаканным.

Захар Павлович, при всей своей скорби, помнил о дальнейшем.

— Будет тебе, Никифоровна, выть-то! — сказал он одной бабе, плакавшей навзрыд и с поспешным причитанием. — Не от горя воешь, а чтоб по тебе поплакали, когда сама помрешь. Ты возьми-ка мальчишку к себе — у тебя все равно их шестеро, один фальшью какой-нибудь между всеми пропитается.

Никифоровна сразу пришла в свой бабий разум и осохла свирепым лицом: она плакала без слез, одними морщинами:

— И то будто! Сказал тоже — фальшью какой-то пропитается! Это он сейчас такой, а дай возмужает — как почнет жрать да штаны трепать — не наготовишься!

Взяла мальчика другая баба, Марфа Фетисовна Дванова, у которой было семеро детей. Ребенок дал ей руку, женщина утерла ему лицо юбкой, высморкала его нос и повела сироту в свою хату.

Мальчик вспомнил про удочку, которую сделал ему отец, а он закинул ее в озеро и там позабыл. Теперь, должно быть, уже поймалась рыба и ее можно съесть, чтобы чужие люди не ругали за ихнюю еду.

— Тетя, у меня рыба поймалась в воде, — сказал Саша. — Дай я пойду достану ее и буду есть, чтоб тебе меня не кормить.

Марфа Фетисовна нечаянно сморщила лицо, высморкала нос в кончик головного платка и не пустила руку мальчика.

Захар Павлович задумался и хотел уйти в босяки, но остался на месте. Его сильно тронуло горе и сиротство — от какой-то неизвестной совести, открывшейся в груди, он хотел бы без отдыха идти по земле, встречать горе во всех селах и плакать над чужими гробами. Но его остановили очередные изделия: староста ему дал чинить стенные часы, а священник настраивать рояль. Захар Павлович сроду никакой музыки не слышал — видел в уезде однажды граммофон, но его замучили мужики и он не играл: граммофон стоял в трактире, у ящика были поломаны стенки, чтобы видеть обман и того, кто там поет, а в мембрану вдет штопальная игла. За настройкой рояля он просидел месяц, пробуя заунывные звуки и рассматривая механизм, вырабатывающий такую нежность. Захар Павлович ударял по клавише — грустное пение поднималось и улетало; Захар Павлович смотрел вверх и ждал возвращения звука — слишком он хорош, чтобы бесследно растратиться. Священнику надоело ждать настройки, и он сказал: «Ты, дядюшка, напрасно тона не оглашай, ты старайся дело приурочить к концу и не вникай в смысл тебе непотребного». Захар Павлович обиделся до корней своего мастерства и сделал в механизме секрет, который устранить можно в одну секунду, но обнаружить без особого знания нельзя. После поп еженедельно вызывал Захара Павловича: «Иди, друг, иди — опять тайнообразующая сила музыки пропала». Захар Павлович не для попа сделал секрет и не для того, чтобы самому часто ходить наслаждаться музыкой: его растрогало противоположное — как устроено то изделие, которое волнует любое сердце, которое делает человека добрым; для этого он и приладил свой секрет, способный вмешиваться в благозвучность и покрывать его завыванием. Когда после десяти починок Захар Павлович понял тайну смешения звуков и устройство дрожащей главной доски, он вынул из рояля секрет и навсегда перестал интересоваться звуками.

Теперь Захар Павлович на ходу вспоминал прошедшую жизнь и не сожалел о ней. Многие устройства и предметы он лично постиг в утекшие годы и мог их повторить в своих изделиях, если будет подходящий материал и инструменты. Шел он сквозь село ради встречи неизвестных машин и предметов, что за тою чертой, где могучее небо сходится с деревенскими неподвижными угольями. Шел он туда с тем сердцем, с каким крестьяне ходят в Киев, когда в них иссякает вера и жизнь превращается в дожитие.

На сельских улицах пахло гарью — это лежала зола на дороге, которую не разгребали куры, потому что их поели. Хаты стояли, полные бездетной тишины; одичалые, переросшие свою норму лопухи ожидали хозяев у ворот, на дорожках и на всех обжитых протоптанных местах, где ранее никакая трава не держалась, и покачивались, как будущие деревья. Плетни от безлюдья тоже зацвели: их обвили хмель и повитель, а некоторые колья и хворостины принялись и обещали стать рощей, если люди не вернуться. Дворовые колодцы сохли, туда свободно, переползая через сруб, бежали ящерицы отдыхать от зноя и размножаться. Захара Павловича еще немало удивило такое бессмысленное происшествие, что на полях хлеб давно умер, а на соломенных крышах изб зеленела рожь, овес, просо и шумела лебеда; они принялись из зерен в соломенных покрытиях. В село перебрались также полевые желто-зеленые птицы, живя прямо в горницах изб; воробьи же снимались с подножия тучами и выговаривали сквозь ветер крыльев свои хозяйские деловые песни.

Минуя село, Захар Павлович увидел лапоть; лапоть тоже ожил без людей и нашел свою судьбу — он дал из себя отросток шелюги, а остальным телом гнил в прах и хранил тень над корешком будущего куста. Под лаптем была, наверное, почва посустрее, потому что сквозь него тцились пролезть множество бледных травинок. Из всех деревенских вещей Захар Павлович особенно любил лапоть и подкову, а из устройств — колодцы. На трубе последней хаты сидела ласточка, которая от вида Захара Павловича влезла внутрь трубы и там, в тьме дымохода, обняла крыльями своих потомков.

Вправо осталась церковь, а за ней — чистое знаменитое поле, ровное, словно улегшийся ветер. Малый колокол — подголосок — начал звонить и отбил полдень: двенадцать раз. Повитель опутала храм и норовила добраться до креста. Могилы священников у стен

церкви занесло бурьяном, и низкие кресты погибли в его чащах. Сторож, отделавшись, еще стоял у паперти, наблюдая ход лета; будильник его запутался в многолетнем счете времени, зато сторож от старости начал чувствовать время так же остро и точно, как горе и счастье; что бы он ни делал, даже когда спал (хотя в старости жизнь сильнее сна — она бдительна и ежеминутна), но истекал час, и сторож чувствовал какую-то тревогу или вожделение, тогда он бил часы и опять затихал.

— Живой еще, дедушка? — сказал сторожу Захар Павлович. — Для кого ты сутки считаешь?

Сторож хотел не отвечать: за семьдесят лет жизни он убедился, что половину дел исполнил зря, а три четверти всех слов сказал напрасно: от его забот не выжили ни дети, ни жена, а слова забылись, как посторонний шум. «Скажу этому человеку слово, — судил себя сторож, — человек пройдет версту и не оставит меня в вечной памяти своей: кто я ему — ни родитель, ни помощник!»

— Зря работаешь! — упрекнул Захар Павлович.

Сторож на эту глупость ответил:

— Как так зря? На моей памяти наша деревня десять раз выходила, а потом обратно селилась. И теперь возвернется: долго без человека нельзя.

— А звон твой для чего?

Сторож знал Захара Павловича как человека, который давал волю своим рукам для всякой работы, но не знавшего цену времени.

— Вот тебе — звон для чего! Колоколом я время сокращаю и песни пою...

— Ну, пой, — сказал Захар Павлович и вышел вон из села.

На отшибе съезжилась хатка без двора, видно, кто-то наспех женился, поругался с отцом и выселился. Хата тоже стояла пустой, и внутри нее было жутко. Одно только на прощанье порадовало Захара Павловича — из трубы этой хаты вырос наружу подсолнух — он уже возмужал и склонился на восход солнца зреющей головой.

Дорога заросла сухими, обветшалыми от пыли травами. Когда Захар Павлович присаживался покурить, он видел на почве уютные леса, где трава была деревьями: целый маленький жилой мир со своими дорогами, своим теплом и полным оборудованием

для ежедневных нужд мелких озабоченных тварей. Заглядевшись на муравьев, Захар Павлович держал их в голове еще версты четыре своего пути и наконец подумал: «Дать бы нам муравьиный или комариный разум — враз бы можно жизнь безбедно наладить: эта мелочь — великие мастера дружной жизни; далеко человеку до умельца-муравья».

Появился Захар Павлович на опушке города, снял себе чулан у многолетнего вдовца-столяра, вышел наружу и задумался: чем бы ему заняться?

Пришел с работы столяр-хозяин и сел рядом с Захаром Павловичем.

— Сколько тебе за помещение платить? — спросил Захар Павлович.

Столяр не рассмеялся, а хотел это сделать — он как-то похрипел горлом: в голосе его слышна была безнадежность и то особое притерпевшееся отчаяние, которое бывает у кругом и навсегда огорченного человека.

— А ты чем занимаешься? Ничем? Ну, живи так, пока мои ребята тебе голову не оторвали...

Это он сказал верно: в первую же ночь сыновья столяра — ребята от десяти до двадцати лет — облили спящего Захара Павловича своей мочой, а дверь чулана приперли рогачом. Но трудно было рассердить Захара Павловича, никогда не интересовавшегося людьми. Он знал, что есть машины и сложные мощные изделия, и по ним ценил благородство человека, а не по случайному хамству. И в самом деле, утром Захар Павлович видел, как старший сын столяра ловко и серьезно делал топорище, значит — главное в нем не моча, а ручная умелость.

Через неделю Захар Павлович так заскорбел от безделья, что начал без спроса чинить дом столяра. Он перешил худые швы на крыше, сделал заново крыльцо в сенях и вычистил сажу из дымоходов. В вечернее время Захар Павлович тесал колышки.

— Что ты делаешь? — спрашивал у него столяр, промокая усы хлебной коркой — он только что пообедал: ел картошку и огурцы.

— Может быть, на что годятся, — отвечал Захар Павлович.

Столяр жевал корку и думал.

— Годятся могилы огораживать! Мои ребята говели постом — все могилы на кладбище специально обгадили.

Тоска Захара Павловича была сильнее сознания бесполезности труда, и он продолжал тесать колья до полной ночной усталости. Без ремесла у Захара Павловича кровь от рук прилиwała к голове, и он начинал так глубоко думать о всем сразу, что у него выходил один бред, а в сердце поднимался тоскливый страх. Бродя днем по солнечному двору, он не мог превозмочь свою думу, что человек произошел из червя, червь же — это простая страшная трубка, у которой внутри ничего нет — одна пустая вонючая тьма. Наблюдая городские дома, Захар Павлович открыл, что они в точности похожи на закрытые гробы, и пугался ночевать в доме столяра. Зверская работоспособная сила, не находя места, ела душу Захара Павловича, он не владел собой и мучился разнообразными чувствами, каких при работе у него никогда не появлялось. Он начал видеть сны: будто умирает его отец — шахтер, а мать поливает его молоком из своей груди, чтобы он ожил; но отец ей сердито говорит: «Дай хоть свободно помучиться, стерва», потом долго лежит и оттягивает смерть; мать стоит над ним и спрашивает: «Скоро ты?»; отец с ожесточением мученика плюет, ложится вниз лицом и напоминает: «Хорони меня в старых штанах, эти Захарке отдашь!»

Единственно, что радовало Захара Павловича, это сидеть на крыше и смотреть вдаль, где в двух верстах от города проходили иногда бешеные железнодорожные поезда. От вращения колес паровоза и его быстрого дыхания у Захара Павловича радостно зудело тело, а глаза взмокали легкими слезами от сочувствия паровозу.

Столяр смотрел-смотрел на своего квартиранта и начал его кормить бесплатно со своего стола. Сыновья столяра бросили в отдельную чашку Захара Павловича на первый раз соплей, но отец встал и с размаху, без всякого слова, выбил на скуле старшего сына бугор.

— Сам я человек как человек, — спокойно сказал столяр, сев на свое место, — но, понимаешь ты, такую сволочь нарожал, что, того и гляди, они меня кончат. Ты посмотри на Федьку! Сила — чертова, и где он себе ряску налопал, сам не пойму, — с малолетства на дешевых харчах сидят..

Начались первые дожди осени — без времени, без пользы: крестьяне давно пропали в чужих краях, а многие умерли на дорогах, не дойдя до шахт и до южного хлеба. Захар Павлович пошел

со столяром на вокзал наниматься: у столяра там был знакомый машинист.

Машиниста они нашли в дежурке, где отсыпались паровозные бригады. Машинист сказал, что народу много, а работы нет; остатки ближних деревень целиком живут на вокзале и делают что попало за низкий расценочек. Столяр вышел и принес бутылку водки и круг колбасы. Выпив водки, машинист рассказал Захару Павловичу и столяру про паровозную машину и тормоз Вестингауза.

— Ты знаешь, инерция какая на уклонах бывает при шестидесяти осях в составе? — возмущенный невежеством слушателей, говорил машинист и упруго показывал руками мощь инерции. — Ого! Откроешь тормозной кран — под тендером из-под колодок синее пламя бьет, вагоны в затылок прут, паровоз дует с закрытым паром — одним разбегом в трубу клокочет! Ух, едрит твою мать!.. Налей! Огурца зря не купил: колбаса желудок запаковывает...

Захар Павлович сидел и молчал: он заранее не верил, что поступит на паровозную работу — куда ж тут ему справиться после деревянных сковородок!

От рассказов машиниста его интерес к механическим изделиям становился затаенней и грустней, как отказанная любовь.

— А ты что заквок? — заметил машинист скорбь Захара Павловича. — Приди завтра в депо, я с наставником поговорю, может, в обтирщики возьмут! Не робей, сукин сын, раз есть хочешь...

Машинист остановился, не кончив какого-то слова: у него началась отрыжка.

— Но, дьявол: колбаса твоя задним ходом прет! За гривенник пуд, нищесброд, купил, лучше б я обтирочными концами закусил... Но, — снова обратился машинист к Захару Павловичу, — но паровоз мне делай под зеркало, чтоб я в майских перчатках мог любую часть нащупать! Паровоз ни-ка-кой пылинки не любит: машина, брат, это — барышня... Женщина уж не годится — с лишним отвертием машина не пойдет...

Машинист понес вдаль отвлеченные слова о каких-то женщинах. Захар Павлович слушал-слушал и ничего не понимал: он не знал, что женщин можно любить особо и издали, он знал, что такому человеку следует жениться. С интересом можно говорить о сотворении мира и о незнакомых изделиях, но говорить о жен-

щине, как и говорить о мужчинах, — непонятно и скучно. Имел когда-то и Захар Павлович жену, она его любила, — а он ее не обижал, — но он не видел от нее слишком большой радости. Многими свойствами наделен человек, если страстно думать над ними, то можно ржать от восторга даже собственного ежесекундного дыхания. Но что тогда получится? Затея и игра в свое тело, а не серьезное внешнее существование. Захар Павлович сроду не уважал таких разговоров.

Через час машинист вспомнил о своем дежурстве. Захар Павлович и столяр проводили его до паровоза, который вышел из-под заправки. Машинист еще издали служебным басом крикнул своему помощнику:

- Как там пар?
- Семь атмосфер, — ответил без улыбки помощник, высовываясь из окна.
- Вода?
- Нормальный уровень.
- Топка?
- Сифоню.
- Отлично.

На другой день Захар Павлович пришел в депо. Машинист-наставник, сомневающийся в живых людях старичок, долго всматривался в него. Он так больно и ревниво любил паровозы, что с ужасом глядел, когда они едут. Если б его воля была, он все паровозы поставил бы на вечный покой, чтоб они не увечились грубыми руками невежд. Он считал, что людей много, машин мало; люди — живые и сами за себя постоят, а машина — нежное, беззащитное, ломкое существо: чтоб на ней ездить исправно, нужно сначала жену бросить, все заботы из головы выкинуть, свой хлеб в олеонафт макать — вот тогда человека можно подпустить к машине, и то через десять лет терпения!

Наставник изучал Захара Павловича и мучился: холуй, наверное, — где пальцем надо нажать, он, скотина, кувалдой саданет, где еле-еле следует стеклышко на манометре протереть, он так надавит, что весь прибор с трубкой сорвет, — разве ж допустимо к механизму пахаря подпускать?! Боже мой, боже мой, — молча, но сердечно сердился наставник, — где вы, старинные механики, помощники, кочегары, обтирщики? Бывало, близ паровоза люди

трепетали, а теперь каждый думает, что он умней машины! Сволочи, святотатцы, мерзавцы, холуи чертовы! По правилу, надо бы сейчас же остановить движение! Какие нынче механики? Это крушение, а не люди! Это бродяги, наездники, лихачи — им болта в руки давать нельзя, а они уже регулятором орудуют! Я, бывало, когда что чуть стукнет лишнее в паровозе на ходу, что-нибудь только запоет в ведущем механизме — так я концом ногтя не сходя с места чувствую, дрожу весь от страдания, на первой же остановке губами дефект найду, вылижу, высосу, кровью смажу, а втемную не поеду... А этот изо ржи да прямо на паровоз хочет!

— Иди домой — рожу сначала умой, потом к паровозу подходи, — сказал наставник Захару Павловичу.

Умывшись, на вторые сутки Захар Павлович явился снова. Наставник лежал под паровозом и осторожно трогал рессоры, легонько постукивая по ним молоточком и прикладываясь ухом к позванивавшему железу.

— Мотя! — позвал наставник слесаря. — Подтяни здесь гаечку на полниточки!

Мотя тронул гайку разводным ключом на полповорота. Наставник вдруг так обиделся, что Захару Павловичу его жалко стало.

— Мотюшка! — с тихой угнетенной грустью сказал наставник, но поскрипывая зубами. — Что ты наделал, сволочь проклятая? Ведь я тебе что сказал: гайку!! Какую гайку? Основную! А ты контргайку мне свернул и с толку меня сбил! А ты контргайку мне осаживаешь! А ты опять-таки контргайку мне трогаешь! Ну, что мне с вами делать, звери вы проклятые? Иди прочь, скотина!

— Давайте я, господин механик, контргайку обратно на полповорота отдам, а основную на полнитки прижму! — попросил Захар Павлович.

Наставник отозвался растроганным мирным голосом, оценив сочувствие к своей правоте постороннего человека.

— А? Ты заметил, да? Он же, он же... лесоруб, а не слесарь! Он же гайку, гайку по имени не знает! А? Ну, что ты будешь делать? Он тут с паровозом как с бабой обращается, как со шлюхой с какой! Господи боже мой!.. Ну, пойди, пойди сюда — поставь мне гаечку по-моему...

Захар Павлович подлез под паровоз и сделал все точно и как надо. Затем наставник до вечера занимался паровозами и ссорами

с машинистами. Когда зажгли свет, Захар Павлович напомнил наставнику о себе. Тот снова остановился перед ним и думал свои мысли.

— Отец машины — рычаг, а мать — наклонная плоскость, — ласково проговорил наставник, вспоминая что-то задушевное, что давало ему покой по ночам. — Попробуй завтра топки чистить — приди вовремя. Но не знаю, не обещаю — попробуем, посмотрим... Это слишком серьезное дело! Понимаешь: топка! Не что-нибудь, а — топка!.. Ну, иди, иди прочь!

Еще одну ночь проспал Захар Павлович в чулане у столяра, а на заре, за три часа до начала работы, пришел в депо. Лежали обкатанные рельсы, стояли товарные вагоны с надписями дальних стран: Закаспийские, Закавказские, Уссурийская железные дороги. Особые странные люди ходили по путям: умные и сосредоточенные — стрелочники, машинисты, осмотрщики и прочие. Кругом были здания, машины, изделия и устройства.

Захару Павловичу представился новый искусный мир — такой давно любимый, будто всегда знакомый, — и он решил навеки удержаться в нем.

За год до недорода Мавра Фетисовна забеременела семнадцатый раз. Ее мужик, Прохор Абрамович Дванов, обрадовался меньше, чем полагается. Созерцая ежедневно поля, звезды, огромный текущий воздух, он говорил себе: на всех хватит! И жил спокойно в своей хате, кишашей мелкими людьми — его потомством. Хотя жена родила шестнадцать человек, но уцелело семеро, а восьмым был приемыш — сын утонувшего по своему желанию рыбака. Когда жена за руку привела сироту, Прохор Абрамович ничего против не сказал:

— Ну что ж: чем ребят гуще, тем старикам помирать надежней... Покорми его, Мавруша!

Сирота поел хлеба с молоком и заболтал ногами.

Мавра Фетисовна поглядела на него и вздохнула:

— Новое сокрушение Господь послал... Помрет недоростком, должно быть: глазами не живуч, только хлеб будет есть напрасно...

Но мальчик не умирал два года и даже ни разу не болел. Ел он мало, и Мавра Фетисовна смирилась с сиротой.

— Ешь, ешь, родимый, — говорила она, — у нас не возьмешь, у других не схватишь...

Прохор Абрамович давно оробел от нужды и детей, ни на что не обращал глубокого внимания — болеют ли дети или рождаются новые, плохой ли урожай или терпимый, и поэтому он всем казался добрым человеком. Лишь почти ежегодная беременность жены его немного радовала: дети были его единственным чувством прочности своей жизни — они мягкими маленькими руками заставляли его пахать, заниматься домоводством и всячески заботиться. Он ходил, жил, трудился, как сонный, не имея избыточной энергии и ничего не зная вполне определенно. Богу Прохор Абрамович молился, но сердечного расположения к нему не чувствовал; страсти молодости, вроде любви к женщинам, желания хорошей пищи и прочее — в нем не продолжались, потому что жена была некрасива, а пища однообразна и непитательна из года в год. Умножение детей уменьшало в Прохоре Абрамовиче интерес к себе; ему от этого становилось как-то прохладней и легче. Чем дальше жил Прохор Абрамович, тем все терпеливей и безотчетней относился ко всем деревенским событиям. Если б все дети Прохора Абрамовича умерли в одни сутки, он на другие сутки набрал бы себе столько же приемышей, а если бы и приемыши погибли, Прохор Абрамович моментально бросил бы свою земледельческую судьбу, отпустил бы жену на волю, а сам вышел босым неизвестно куда — туда, куда всех людей тянет, где сердцу, может быть, так же грустно, но хоть ногам отраднo.

Семнадцатая беременность жены огорчила Прохора Абрамовича по хозяйственным соображениям: в эту осень меньше родилось детей в деревне, чем в прошлую, а главное — не родила тетка Марья, рожавшая двадцать лет ежегодно, за вычетом тех лет, которые наступали перед засухой. Это заметила вся деревня, и если тетка Марья ходила порожня, мужики говорили: «Ну, Марья нынче девкой ходит — летом голод будет».

В этот год Марья тоже ходила худой и свободной.

— Паруешь, Марь Матвевна? — с уважением спрашивали ее прохожие мужики.

— А то что же! — говорила Марья и с непривычки стыдилась своего холостого положения.

— Ну ничего, — успокаивали ее. — Глядишь, опять скоро сына почнешь: ты на это ухватлива...

— А чего же зря-то жить! — смелела Марья. — Лишь бы хлеб был...

— Это-то хоть верно, — соглашались мужики. — Бабе родить не трудно, да хлеб за ней не поспевает... Да ты-то — ведьма: ты свою пору знаешь...

Прохор Абрамович сказал жене, что она отяжелела безо времени.

— И-их, Проша, — ответила Мавра Фетисовна, — я рожу, я и с сумой для них пойду — не ты ведь!

Прохор Абрамович умолк на долгое время.

Настал декабрь, а снегу не было — озимые вымерзали. Мавра Фетисовна родила двоешек.

— Снеслась, — сказал у ее кровати Прохор Абрамович. — Ну и слава богу: что ж теперь делать-то! Должно, эти будут живучие — морщинки на лбу и ручки кулаками...

Приемыш стоял тут же и глядел на непонятое с искаженным постаревшим лицом. В нем поднялась едкая теплота позора за взрослых, он сразу потерял любовь к ним и почувствовал свое одиночество — ему захотелось убежать и спрятаться в овраг. Так же ему было одиноко, скучно и страшно, когда он увидел склепченных собак — он тогда два дня не ел, а всех собак разлюбил навсегда. У кровати роженицы пахло говядиной и сырым молочным телком, а сама Мавра Фетисовна ничего не чувала от слабости, ей было душно под разноцветным лоскутным одеялом — она обнажила полную ногу в морщинах старости и материнского жира; на ноге были видны желтые пятна каких-то омертвевших страданий и синие толстые жилы с окоченевшей кровью, туго разросшиеся под кожей и готовые ее разорвать, чтобы выйти наружу; по одной жиле, похожей на дерево, можно чувствовать, как бьется где-то сердце, с напором и с усилием прогоняя кровь сквозь узкие обвалившиеся ущелья тела.

— Что, Саш, загляделся? — спросил Прохор Абрамович у ослабевшего приемыша. — Два братца тебе родилось, отрежь себе хлеба ломоть и ступай бегать — нынче потеплело...

Саша ушел, не взяв хлеба. Мавра Фетисовна открыла белые жидкие глаза и позвала мужа:

— Проша! С сиротой — десять у нас, а ты двенадцатый...

Прохор Абрамович и сам знал счет:

— Пускай живут — на лишний рот лишний хлеб растет.

— Люди говорят, голод будет — не дай бог страсти такой: куда нам деваться с грудными да малолетними?

— Не будет голода, — для спокойствия решил Прохор Абрамович. — Озимые не удадутся, на яровых возьмем.

Озимые и взаправду не удались: они подмерзли еще с осени, а весной окончательно задохнулись под полевою наледью. Яровые то пугали, то радовали, но кое-как дозрели и дали втрое больше, чем было посеяно семян. Старшему сыну Прохора Абрамовича было лет одиннадцать, и приемышу почти столько же: кто-то один должен идти побираться, чтобы носить семье помощь хлебными сухарями. Прохор Абрамович молчал: своего послать жалко, а сироту стыдно.

— Что ж ты молчишь-то сидишь? — озлобилась Мавра Фетисовна. — Агапка семилетнего отправила, Мишка Дувакин девчонку снарядил, а ты все сидишь, идол беззаботный! Пшена-то до рождества не хватит, а хлеба со Спаса не видим!..

Весь вечер Прохор Абрамович шил удобный и уемистый мешок из старого рядна. Раза два он подзывал Сашу и примеривал к его плечам:

— Ничего? Тут не тянет?

— Ничего, — отвечал Саша.

Одиннадцатилетний Прошка сидел рядом с отцом и вдевал суровую нитку в иглу, когда она выскакивала, так как сам отец видел неясно.

— Папаньк, завтра Сашку побираться прогонишь? — спросил Прошка.

— Чего ты болтаешь сидишь? — сердился отец. — Вот ты подрастешь, сам попобираешься.

— Я не пойду, — отказался Прошка, — я воровать буду. Помнишь, ты говорил, кобылу у дяди Гришки свели? Они свели, им хорошо, а дядя Гришка мерина опять купил. А я вырасту, украду мерина.

На ночь Мавра Фетисовна накормила Сашу лучше своих кровных детей — дала ему отдельно, после всех, каши с маслом и молока, сколько попьет. Прохор Абрамович принес из риги жердь, и, когда все спали, он выделал из нее дорожный посошок. Саша не спал и слушал, как Прохор Абрамович строгает палку хлебным ножом. Прошка сопел и ежился от таракана, бродившего у него по шее. Саша снял таракана, но побоялся его убить и бросил с печки на пол.

— Ты, Саш, не спишь? — спросил Прохор Абрамович. — Спи себе, чего ж ты!

Дети просыпались рано, они начинали драться друг с другом в темноте, когда петухи еще дремали, а старики просыпались только по второму разу и чесали пролежни. Ни один запор еще не скрипел на деревне, и ничто не верещало в полях. В такой час Прохор Абрамович выводил приемыша за околицу. Мальчик шел сонный, доверчиво ухватив руку Прохора Абрамовича. Было сыро и прохладно, сторож в церкви звонил часы, и от грустного гула колокола мальчик заволновался. Прохор Абрамович наклонился к сироте:

— Саша, ты погляди туда. Вон видишь, дорога из деревни на гору пошла — ты все так иди и иди по ней. Увидишь потом громадную деревню и каланчу на бугре — ты не пугайся, а ступай прямо, это тебе повстречается город, и там много хлеба на ссыпках. Как наберешь полную сумку — приходи домой отдыхать. Ну, прощай, сынок ты мой!

Саша держал руку Прохора Абрамовича и глядел в серую утреннюю скудость полевой осени.

— Там дожди были? — спросил Саша о далеком городе.

— Сильные! — подтвердил Прохор Абрамович.

Тогда мальчик оставил руку и, не взглянув на Прохора Абрамовича, тихо тронулся один — с сумкой и палкой, разглядывая дорогу на гору, чтобы не потерять своего направления. Мальчик скрылся за церковью и кладбищем, и его долго не было видно. Прохор Абрамович стоял на одном месте и ждал, когда мальчик покажется на той стороне лощины. Одиноким воробьи спозаранку копались на дороге и, видимо, зябли. «Тоже сироты, — думал про них Прохор Абрамович, — кто им кинет чего!»

Саша вошел на кладбище, не сознавая, чего ему хочется. В первый раз он подумал сейчас про себя и тронул свою грудь: вот тут я, — а всюду было чужое и непохожее на него. Дом, в котором он жил, где любил Прохора Абрамовича, Мавру Фетисовну и Прошку, оказался не его домом — его вывели оттуда утром на прохладную дорогу. В полудетской грустной душе, не разбавленной успокаивающей водой сознания, сжалась полная давящая обида, он чувствовал ее до горла.

Кладбище было укрыто умершими листьями, по их покою всякие ноги сразу затихали и ступали мирно. Всюду стояли крестьянские кресты, многие без имени и без памяти о покойном. Сашу интересовали те кресты, которые были самые ветхие и тоже собирались упасть и умереть в земле. Могилы без крестов были еще

лучше — в их глубине лежали люди, ставшие навеки сиротами: у них тоже умерли матери, а отцы у некоторых утонули в реках и озерах. Могильный бугор отца Саши почти растоптался — через него лежала тропинка, по которой носили новые гробы в глушь кладбища.

Близко и терпеливо лежал отец, не жалуясь, что ему так худо и жутко на зиму оставаться одному. Что там есть? Там плохо, там тихо и тесно, оттуда не видно мальчика с палкой и нищей сумой.

— Папа, меня прогнали побираться, я теперь скоро умру к тебе — тебе там ведь скучно одному, и мне скучно.

Мальчик положил свой посошок на могилу и заложил его листьями, чтобы он хранился и ждал его.

Саша решил скоро прийти из города, как только наберет полную сумку хлебных корок; тогда он выроет себе землянку рядом с могилой отца и будет там жить, раз у него нету дома.

Проخور Абрамович уже заждался приемыша и хотел уходить. Но Саша перешел через протоки балочных ручьев и стал подниматься по глинистому взгорью. Он шел медленно и уже устало, зато радовался, что у него скоро будет свой дом и свой отец; пусть отец лежит мертвый и ничего не говорит, но он всегда будет лежать близко, на нем рубашка в теплом поту, у него руки, обнимавшие Сашу в их сне вдвоем на берегу озера; пусть отец мертвый, но он целый, одинаковый и такой же.

«Куда ж у него палка делась?» — гадал Проخور Абрамович.

Утро отсырело, мальчик одолевал скользкий подъем, припадая к нему руками. Сумка болталась широко и просторно, как чужая одежда.

«Ишь ты, сшил я ее как: не по нищему, а по жадности, — поздно упрекал себя Проخور Абрамович. — С хлебом он и не донесет ее... Да теперь все равно: пускай — как-нибудь...»

На высоте перелома дороги на ту, невидимую, сторону поля мальчик остановился. В рассвете будущего дня, на черте сельского горизонта, он стоял над кажущимся глубоким провалом, на берегу небесного озера. Саша испуганно глядел в пустоту степи; высота, даль, мертвая земля были важными и большими, поэтому все казалось чужим и страшным. Но Саше дорого было уцелеть и вернуться в низину села на кладбище — там отец, там тесно и все — маленькое, грустное и укрытое землею и деревьями от ветра. Поэтому он пошел в город за хлебными корками.

СОДЕРЖАНИЕ

ЧЕВЕНГУР. <i>Путешествие с открытым сердцем</i>	5
ПОВЕСТИ	
Сокровенный человек	379
Котлован	449
Ювенильное море (<i>Море юности</i>)	560
Джан	634
РАССКАЗЫ	
Усомнившийся Макар	747
Мусорный ветер	764
Фро	781
Река Потудань	803
Июльская гроза	831
Юшка	849
Афродита	856
Цветок на земле	872

Платонов А.

П 37 Чевенгур. Сокровенный человек. Котлован : роман, повести, рассказы / Андрей Платонов. — СПб. : Азбука, Азбука-Аттикус, 2022. — 880 с. — (Русская литература. Большие книги).

ISBN 978-5-389-20782-0

Андрей Платонов — один из самых значительных и самобытных прозаиков в истории русской литературы, писатель-философ, главным инструментом которого стал уникальный язык, отразивший исконную простоту мира и, как писал Валентин Распутин, «приземленную, как бы сознательно не поднимающуюся над землей мудрость». По словам Андрея Битова, «Платонов сумел написать свои тексты вот этим, каким-то дохристианским языком первобытного зарождающегося сознания. ...Может быть, Платонова надо читать детям, может быть, они поймут это легче — и вовремя». В настоящем издании представлены наиболее известные и значимые произведения Андрея Платонова, в числе которых роман «Чевенгур», повести «Котлован», «Сокровенный человек», «Ювенильное море», рассказы «Река Потудань», «Фро», «Цветок на земле» и др.

УДК 821.161.1

ББК 84(2Рос-Рус)6-44

Литературно-художественное издание

АНДРЕЙ ПЛАТОНОВИЧ ПЛАТОНОВ
ЧЕВЕНГУР
•
СОКРОВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК
•
КОТЛОВАН

Ответственный редактор Оксана Сабурова
Художественный редактор Валерий Гореликов
Технический редактор Татьяна Раткевич
Компьютерная верстка Владимира Сергеева
Корректоры Дмитрий Капитонов, Татьяна Бородулина
Главный редактор Александр Жикаренцев

Подписано в печать 18.01.2022. Формат издания 60 × 90^{1/16}.
Печать офсетная. Тираж 5000 экз. Усл. печ. л. 55.
Заказ №

Знак информационной продукции
(Федеральный закон № 436-ФЗ от 29.12.2010 г.):

16+

ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“» —
обладатель товарного знака АЗБУКА®
115093, г. Москва, ул. Павловская, д. 7, эт. 2, пом. III, ком. № 1
Филиал ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“»
в Санкт-Петербурге
191123, г. Санкт-Петербург, Воскресенская наб., д. 12, лит. А
ЧП «Издательство „Махаон-Украина“»
Тел./факс: (044) 490-99-01. E-mail: sale@machaon.kiev.ua
Отпечатано в соответствии с предоставленными материалами
в ООО «ИПК Парето-Принт».
170546, Тверская область, Промышленная зона Боровлево-1,
комплекс № 3А.
www.pareto-print.ru



A-ARL-29687-01-R